

# Юзеф Игнацы Крашевский

## КУНИГАС

### Роман из литовской старины

#### I

В замке крестоносцев Мариенбурге звонили к вечерне. Благовест небольшого колокола то тихий, то грустный, не то ленивый раздавался по замковым подворьям. Порой он затихал, порой гудел громче, смотря по тому, как и куда относили его порывы ветра.

Часовенка, двери которой стояли настежь, была еще почти пустая и совсем неосвещенная. Время было позднее, осеннее; сумрак пасмурного дня окутывал замковые здания. Среди полусвета, полутьмы очертания их принимали фантастические образы; часть их терялась в темноте и расплывалась во мраке; некоторые же резко выделялись, наполовину освещенные последними лучами дня и пламенем горевших лампад и светочей, образовавших яркие круги на дымном фоне. Местами открытые ворота зияли, как черные пасти; местами застывшим и жутким в своем безмолвии пожаром горели решетчатые окна, освещенные багровым светом искусственных огней, в отблеске которых мелькали черные людские тени.

Замок казался угрюмым и хмурым, как тюрьма. В молчании, медленно, тоскливо двигались по внутренним дворам фигуры рыцарей, челядники в куцых одеждах, парни с остриженными волосами.

Привыкшие в определенный час исполнять определенные обязанности, эти люди ходили как безжизненные призраки, как колеса таинственного механизма, покорного безмолвным приказаниям.

Страшная тишина прерывалась только временами воем цепных собак или ржанием лошадей в конюшне. Но и эти существа, тоже как бы освоившиеся с безмолвием монастыря, вскоре утихали.

Над этой величавой тишиной царил призрак торжественной тоски и мощи, присущих всем деяниям людей, совершаемым без огласки, в тишине, под давлением могучей силы духа.

Всякий шум, поднимаемый вокруг да около человеческих стараний, лишает их оттенка неотразимой силы, признаком которой является добровольный обет молчания.

Среди этих стен ничего не было слышно, кроме глухого звона, сзывавшего братьев на молитву. Иногда сквозь тяжелую пелену тумана налетал порыв осенней бури, весь пропитанный сыростью и влагой, и, ворвавшись в узкие проходы между стен, выл, издеваясь над уставной тишиной.

В часовне, где перед алтарем теплилась

спускавшаяся с потолка лампада, едва освещавшая стены, покрытые надписями и погребальными хоругвями, лениво собралась на вечернюю молитву многочисленная кучка наиболее набожных рыцарей. Патер в капюшоне стоял у ступеней алтаря и торопливо, вполголоса, точно исполняя тяжелую повинность, читал молитвы, сонный и рассеянный. Старейшие из братии, стоявшие в своих покрытых резьбой ложах, собирались больше ради хорошего примера и по обязанности, нежели из ревности к вере, и не проявляли особенного усердия и склонности к молитве. Некоторые из них, склонившись друг к другу головами, перешептывались; другие, скрестив руки на груди, с тоскливою покорностью судьбе ждали, по-видимому, конца службы. Один, опершись о высокую спинку скамьи, погруженный в думу, с закрытыми глазами, не то уже дремал, не то готовился заснуть.

Из глубины сумрачной часовни трудно было распознать тех, которые, собравшись на зов колокола, столпились у дверей, не придавая особого значения самому богослужению.

Свет лампады бросал узорчатые блики на бронзу и позолоту образов, на церковную утварь и бахромую хоругвей. Колеблющееся пламя, колыхаясь в струе воздуха, вздрагивало язычками, как живое существо, и то взлетало выше, то изгибалось в

сторону, попеременно освещая и погружая в мрак очертания людей и священные лики икон. Казалось, что оно одно было одарено здесь волею и жизнью. Все же остальное спало, немое и окаменелое.

На краю резной скамьи, среди унылого ряда белых плащей и черных ряс, выделялось только одно характерное, привлекавшее внимание лицо. Капризный свет лампы внезапно озарил его пучком лучей, и оно резко выделилось среди глубокой окружавшей его тьмы.

Это был мужественный облик человека, закаленного жизнью. Годы обратили его в бронзовую маску, всю испещренную морщинами, как иероглифами, начертанными рукою прошлого, неразборчивыми и таинственными. Открытый высокий лоб был собран в складки, пересеченные поперечными темными морщинами. Такими же складками была изрыта переносица между густыми разросшимися бровями, нависшими над глазными впадинами. Там, в глубине, под сильно выдающимися надбровными дугами светилась пара глаз, чрезвычайно благородной формы и разреза, когда-то, несомненно, украшавших и без того прекрасное лицо. Но теперь и здесь, повсюду, расходились во все стороны гусиные лапки, переходившие ниже в складки щек, немилосердно безобразившие углы рта. Темные еще усы и борода были местами тронуты серебристой сединой. Свет

лампады, бросавший резкие тени, как бы подчеркивал особенности этого лица, точно высеченного мощными ударами резца.

Общее впечатление было угрюмое, суровое, гордое и спокойное, в сознании внутренней непреоборимой силы. Обычная одежда монашеского ордена закрывала могучую грудь и плечи, спускаясь широкими, как бы небрежно брошенными складками. Во всей фигуре не было видно никакой рисовки, а сукно носило явные следы долгого употребления и всяческих превратностей.

Глубоко втянутые губы не открывались для молитвы, а по хмурому челу нельзя было судить, молилась ли душа. Глаза то бесстрастно останавливались на безразличных предметах внешней обстановки, то пристально следили за присутствовавшими в часовне, как за полноправными членами ордена, стоявшими в первых рядах, так и за толпившимися у порога полубратьями. От этих глаз ничто не могло скрыться; эти взоры пронизывали мрак и словно грозили, что обнаружат все в нем скрытое.

По некоторым признакам можно было заключить, что этот свидетель, но не участник общей молитвы, внушал присутствовавшим и робость, и почтение. И подобно тому, как его взгляд переходил от одного к другому, так взоры

всех украдкой обращались в его сторону. Челядь инстинктивно сторонилась, пряталась за выступы стен, чтобы не попасть под этот взгляд, пронизывающий и грозный.

На неподвижном лице рыцаря-монаха не отражались никакие впечатления. Черты рыцарски красивого лица неизменно носили печать гордости, казавшейся врожденной и унаследованной вместе с кровью, а уживавшееся рядом с гордостью смирение монаха являлось маскою и принуждением.

Не видно было, чтобы с положением рыцаря были связаны какие-либо особые значение и власть, отражавшиеся на его лице. В ложе братии он занимал последнее место: крайнее в конце скамьи.

Оттуда он смотрел, следил...

Вечерня близилась к концу; глухим рокотом отвечала паства в ложах на возгласы капеллана. Наконец он припал на одно колено, повернулся и, опустив голову, медленным шагом направился в ризницу.

Тогда все встрепенулись, проснулся вздремнувший монах, а челядь торопливо высыпала на двор.

Остался на месте только тот неподвижный рыцарь, обернувшись лицом к алтарю. Проходившие мимо к выходу из часовни не обменивались с ним поклоном: отвернувшись, они

торопливо, с неумело скрытой тревогой проскальзывали к дверям. Ни один не оказал остававшемуся малейшего знака уважения, хотя, видимо, он внушал страх.

Часовня почти опустела, когда и он наконец тронулся с места и тяжелым шагом направился к двери, у которой замешкалась небольшая кучка челяди. Среди нее, расспрашивая о чем-то, стоял брат-госпиталит, человек уже немолодой, седой, скорый на слова и дело, вспыльчивый и горячий. Он нетерпеливо оправлял и одергивал плащ, докучливо сползавший с плеч. Рыцарь остановился рядом с монахом, а челядь и батраки разбежались в стороны.

Из мощной груди раздался мужественный, сильный, хотя несколько глуховатый голос. Звук его был так своеобразен, что резко выделился бы из тысячи других голосов. Как вся фигура рыцарствующего монаха, так и голос его был внушительен и не терпел противоречия.

Он обратился к монаху-госпиталиту, остановившему на нем беспокойный и блестящий взгляд.

— Что с молодым Юрием? — спросил он.

— Болен, болен, — скороговоркою ответил монах, быстро поводя плечами и явно не желая вступать в длинные объяснения.

Спрашивавший испытующе взглянул на него.

Брат-госпиталит засуетился, торопясь уйти, но заметив, что рыцарь не двигается с места, не посмел.

Тот повторил вопрос:

— Болен? Все болен?

Вертлявый монах в ответ быстро закивал головой. Потом задумался и заговорил:

— Все болен! Да! Трудно даже сказать чем... знаете, брат Бернард, немало болезней насмотрелся я за свою жизнь, а такой не знаю и лечить ее не умею.

И опять собрался уходить. Но Бернард схватил его за руку.

— Повремени немного, — сказал он, — я знаю, что ты всегда торопишься, а все-таки скажи, что с Юрием?

— Что с Юрием? — досадливо и с полуусмешкой ответил гос-питалит. — В том-то и дело, что мы этого не знаем. Ответить трудно. Признаки болезни налицо, а ухватиться за нее, понять ее нельзя. Малец вдруг обессилел, похудел, пожелтел, затосковал, потерял вкус к еде... а пожалуй, даже к жизни. Часами сидит, как окаменелый, уставившись глазами в стену, в окно, в пол, в потолок...

И госпиталит опять быстро задергал плечами.

— Молодости нужен воздух и движение; я подумываю, не взять ли его с собой, посадить на



коня да в поход, в широкий свет, на люди? Изменить образ жизни, устроить в замке одного из комтуров... дать немного свободы?.. — спросил рыцарь.

Монах, слушая, только потряхивал головою.

— Пробуйте, что и как хотите, — сказал он, — из своей аптеки я все, что можно, уже перепробовал. Не думаю, чтобы ему можно было помочь... Сесть на лошадь ему не позволят силы... Жизнь в пограничной крепостце, где денно и ночью надо быть настороже... Какой же это отдых?.. Но, впрочем, я не знаю... — оборвал разговор брат-госпиталит и опять собрался уходить. Но Бернард еще раз удержал его за плащ.

— Как вы думаете? Не угрожает ли болезнь его жизни? — спросил он.

— Если бы он был постарше, — сказал монах, с неудовольствием отодвигаясь от Бернарда, так как торопился, — то легче было бы судить, умрет он или выздоровеет. Но в отроческом возрасте, одаренном одновременно и необычайной выносливостью и неожиданными капризами здоровья, никогда нельзя знать наверное, одержат ли молодые силы верх или угаснут от едва заметного ветерка, как гаснет плохо разгоревшаяся свечка у лампадки.

— А было бы жаль, — пробормотал Бернард, — воспитывали с малолетства...

рассчитывали на него...

Брат-госпиталит, мысли которого были далеко, с трудом расслышал последние слова.

— Брат Бернад! — закричал он с силой, как бы не совладев со своей порывистой натурой. — Поверьте мне, я человек старый и видел виды! Бровь не переделывать: она напоминает о своих правах. Сколько ни ухаживай за дикой птицей, один конец: как только отворишь окно, и она услышит голоса сородичей... непременно упорхнет.

— А чтобы не упорхнула, ей подрезают крылья! — пробурчал Бернад и еще тише, наклонившись к уху госпиталита, добавил:

— Не проболтался ли кто-нибудь? Не выдал ли тайны его происхождения? Быть этого не может!

И он угрожающе взмахнул рукой.

— Кто? Каким образом? — перебил брат-госпиталит. — Кроме нас немногих, связанных присягою молчать, ни одна живая душа не посвящена в тайну. Ни единая! Никакие догадки не помогут. Юрий сам наравне с прочими уверен, что его ребенком привезли сюда из Германии.

— Так! — возразил Бернад. — А младенческие воспоминания? Престранные бывают порой случаи. А если где-то там, на дне души, у него таится память о детских годах? Неуловимая, как сон?

Госпиталит потряс головой.

— Это стерлось! Столько прошло времени! — сказал он. — Никто не помнит своего младенчества, а он попал к нам почти бессловесным.

— О нет, о нет! — возразил Бернард. — Он уже говорил! А дьявольскую, дикую варварскую речь, на которой он лепетал, едва-едва с большим трудом удалось выбить у него из головы уже впоследствии угрозами и искусным воспитанием.

— Да успокойтесь же, он не помнит ни полслова, — молвил брат госпиталит, — ничего подобного ему не может придти в голову. Причину болезни надо искать в другом. В чем именно? А кто его знает! То тело угнетает душу, то душа тело... а страдают и то и другое вместе. И не знаешь, что лечить, тело или душу? Так они друг с другом связаны!

— Надо рассмотреть, что поражено сильнее, душа или тело.

— Так! — усмехнулся брат-госпиталит. — Разве человеческое око может заглянуть так глубоко? Эти бездны доступны только Божией благостыне.

С этими словами госпиталит отошел от дверей часовни, побрякивая связкою ключей, висевшею у пояса, желая дать понять Бернарду, что спешит и что у него много дела.

Брат Бернард, не задерживая спутника, шел с ним рядом. Лазарит, удивленный, оглянулся. Тогда

Бернард, заметив изумление на лице госпиталита, объяснил ему.

— Хочу сам повидать юношу. Ничего особенного не случится, если я вместе с вами зайду в больницу.

Госпиталит опять усмехнулся.

— Ведь вам, — сказал он, — всегда и всюду все открыто. Поступайте, как вам кажется лучше.

Из часовни в больницу надо было пройти через другой, лежавший ниже, дворик. Расстояние было порядочное. В тесных проходах среди стен становилось темно, но свет, местами падавший сквозь окна, освещал дорогу.

Бернард шел молча, глубоко задумавшись. Тяжелые мысли не мешали ему как бы нехотя заглядывать по пути в каждые полуоткрытые двери, в каждое освещенное окно, оборачиваться ко всякому прохожему, попадавшемуся навстречу, и пристально к нему присматриваться. Казалось, что он действовал скорее в силу давнишней привычки, нежели ясно выраженной воли, потому что шел он, глубоко погруженный в собственные мысли.

Монах, побуждаемый живостью своей природы, ежеминутно опережал его и должен был соразмерять свой шаг с тяжелой и медленной поступью Бернарда, так как служил ему проводником. Наконец они вошли в сени, из которых вправо открывались двери не в общие

палаты, вмещавшие большую часть больных и раненых, а в несколько малых помещений, предназначенных для орденских братьев и начальства.

Вошли. Первая темная комната была пустая; из второй сквозь щели снизу у порога и вверху у притолоки проникал слабый свет. Отец-госпиталит потихоньку отворил дверь и, не входя сам, хотел пропустить вперед Бернарда. Но тот, в свою очередь, предложил ему войти первым.

Госпиталит повиновался.

Маленький, вертлявый человечек вошел в тесную коморку, освещенную лампадой. Кроме постели и небольшого столика, на котором стояла тарелка с нетронутой едой и накрытый кружкой жбан с питьем, в келье помещалась всего-навсего только лавка в глубине окна да пара стенных полок.

Постель, твердая и узкая, была застлана шерстяным одеялом. Поверх него, спустив ноги на пол и обхватив руками голову, сидел юноша, лет так около семнадцати, не по летам высокий, но чрезвычайно истощенный.

Волосы, коротко остриженные, светлые, торчавшие дыбком, взъерошенные, обрамляли довольно красивое лицо. При входе посетителей больной поднял голову. Скорбное выражение его лица невольно возбуждало глубокую жалость. Глаза были ввалившиеся, щеки впалые, губы

стиснуты, а лоб наморщен. Затаенное горе придавало красивым чертам юноши привлекательное, но в то же время угрожающее выражение. Из-под опущенных век рвалось наружу лихорадочное нетерпение, досада и признаки внутренней, упорно подавляемой борьбы. Под скромною одеждой, полумонашескою, полурыцарскою, под платьем, плотно облегавшим тело, ясно выступало сильное сложение, с широкой костью при чрезвычайной худобе и хилости.

Увидев посетителей, юноша невольно нахмурил брови и вскочил, почтительно склонив голову; но зашатался и должен был ухватиться за стол.

Брат Бернард, лицо которого было по природе суровое и строгое, делал напрасные усилия придать ему более мягкое выражение. Полон добрых чувств, он подошел к молодому человеку.

— Что же это? Слышу, что вы все еще хвораете? Нехорошо! Что с вами? Отец Сильвестр не мог мне объяснить!

Юноша, опустив глаза, молчал.

Госпиталит тем временем посмотрел на нетронутую пищу, на неопорожненный жбан с питьем и пожал плечами.

— Не болит ли что-нибудь? — спросил он озабоченно.

— Нет, ничего, — ответил юноша коротко и

холодно.

— Что же с вами?

Ответ на второй вопрос заставил себя долго ждать.

— Я бессилён, — молвил наконец с трудом больной.

— Как же случилось, что пропали силы? — продолжал допытываться Бернард.

Тем временем брат-госпиталит, стоя у стола, машинально и нетерпеливо барабанил по нему пальцами и глядел в потолок, всем видом своим показывая, что не верит в пользу расспросов и не придает им ни малейшего значения.

— Не знаю! — тихо пробормотал больной, вздыхая.

На этом, казалось, разговор должен был окончиться, так как юноша не проявлял ни малейшего желания быть откровенным, а Бернард не умел снискать его доверия. Что касается брата-госпиталита, то у него не было желания помочь Бернарду.

Все молчали. Бернард, задумавшись, счел за лучшее окончить разговор нравоучением:

— Надобно, дитя мое, — сказал он, — молиться Богу и Пресвятой Матери Его, чтобы они, по благодати своей, восстановили твои силы! И сам ты также должен бороться с упадком сил, стряхнуть с себя безволие, стараться не падать духом. Враг

рода человеческого расставляет сети и душе, и телу человека. Молитва отгоняет его козни.

Во время этой речи юноша стоял недвижно, по-прежнему опустив глазами не было заметно, чтобы слова Бернарда произвели какое-либо впечатление. Он был, как каменный, и только дрожь, пробегавшая по телу, свидетельствовала о напряжении души. Нравоучение он принял молча. Бернард долго смотрел на него испытующим взглядом, но также молча. А брат-госпиталит добавил:

— Не хочется ли тебе чего-нибудь? К чему у тебя охота? Говори. Выпить или съесть? Природа людям так же, как и животным, подсказывает порой спасительные, инстинктивные желания.

Опять долго пришлось ждать ответа.

— Иногда хочется воды, — ответил юноша слабым голосом и явно против воли, — ни к чему другому у меня нет охоты.

На том кончились расспросы. Брат Бернард что-то пробормотал, обнадеживая мальчика, советуя ему отдыхать, спать, лежать... и устремился к выходу.

Госпиталит медленно идя следом, украдкой поглядывал на юношу, который по-прежнему стоял у своей постели. Потом пожал плечами и также вышел.

Больной, как только дверь закрылась,



опустился на кровать и, облокотившись на колени, задумался с закрытыми глазами, как раньше, до прихода посетителей.

Лампадка, брызгая маслом, горела слабым пламенем, которое то вспыхивало и вытягивалось длинным язычком, то совсем опадало в глиняную чашечку, где плавала свечильня. Шаги удалявшихся братьев заглохли очень скоро, и все вновь погрузилось в гробовую тишину. Где-то далеко скрипнула раза два дверь, и лазарет не то заснул, не то вымер, все в нем онемело.

Больной не лег, хотя время, назначенное для отдыха на сон грядущий, давно уже прошло. По временам он подымал голову, к чему-то прислушивался; потом закрывал лицо руками и в полудремоте продолжал сидеть в бесстрастной неподвижности.

К порогу приближались осторожные, неслышные шаги; дверь медленно открылась, и в келью скользнула какая-то закутанная в плащ фигура. Очевидно, Юрий поджидал пришельца, потому что встал с кровати, и лицо его оживилось: на нем блеснула радость и что-то похожее на чувство.

На пороге стоял подросток одного возраста с больным или несколько моложе. Лицо у него было заурядное, некрасивое, но кроткое, и в данную минуту оно все светилось внутренним, сердечным

состраданием. Коротко остриженные волосы, грубая одежда, плохая кожаная обувь, черты лица, даже сутуловатое и неуклюжее телосложение выдавали его простонародное происхождение.

В сравнении с больным, лицо которого отличалось тонкими, барскими чертами и почти женственную красотой, облагороженную чьей-то посторонней кровью, гость был грубоват и производил впечатление чернорабочего. Только доброта, разлитая в чертах лица, скрашивала уродливую внешность, делала ее приветливой и освещала грубый, неотесанный облик парня.

Больной, увидев вошедшего, улыбнулся. Тот подходил несмело, со знаками почтения, на цыпочках, ступая осторожно.

— А что? — спросил он шепотом. — Не лучше вам?

Он говорил на плохом немецком языке, с чуждым, протяжным ударением.

Больной покачал головой, сел на постель, а гостю указал на лавку, так как другого сиденья не было. Тот присел на самый кончик, едва касаясь телом.

— Говори же, — сказал, морщась, больной, — говори о том же, о чем говорил вчера. Когда я остаюсь один, то думаю и думаю, и все больше вспоминаю. Так! Ваш язык, судя по тем нескольким словам, которым ты научил меня, я знал с детства.

Одно слово вызвало из забвения целый ряд других, потонувших в глубине сознания и там заглохших. Они говорят, будто привезли меня сюда сиротою из Германии; но лгут. Твой язык, — я слышал его в детстве и говорил на нем, — язык литовский, и я, значит, по всей вероятности, литвин... как ты!.. Теперь, когда я вглядываюсь в мрак прошедших лет, мне вспоминаются все новые подробности. Туман рассеивается...

Малец, сидевший на скамье, приложил палец к губам и тревожно оглянулся на дверь. Он вздыхал и потирал лоб.

— А! — вздохнул он. — В несчастливый час проговорился я о прошлом! Какой толк, о нем раздумывать? Какая польза вам, если вы узнаете свое прошедшее? Что раз попало в их руки, то уж не уйдет. Посмотрите-ка на меня. И меня также ребенком взяли из какой-то хаты, тащили, как скотину, на привязи за лошадью; пригнали сюда, окрестили, обстригли, приказали служить... и служу! Идут войной на мой народ, велят нести щиты и мечи... иду, несу. Смотрю, как льется моя кровь, как гибнут братья... Все так и кипит во мне, слезы заливают очи... но я один и нет сил сопротивляться!

Юрий слегка приподнялся на постели и, морща брови, сжав кулаки, сказал:

— Ведь можно убежать!

— Куда? Как? — перебил напуганный парень. — И какая нам была бы от того польза? Там нас не приняли бы и не узнали. Того гляди убили бы, как рыцарских приспешников, которым не дают пощады. Приходится служить... и в то же время ненавидеть. Такая наша доля... а свою судьбу не переспорить.

Он задумался, а потом снова продолжал:

— Вот они вас когда-то вывезли из Литвы, воспитывали и баловали, кормили и одевали, как панское дитя, да разве они теперь позволяют вам сбежать? Да они смотрят за вами в оба... и чуть что... о-хо-хо-хо!

И он рукой провел себе по горлу, как бы снимая голову.

Юрий глубоко задумался.

Разговор на время оборвался. Потом больной стал спрашивать парня, как по-литовски разные обиходные слова: мать, отец, брат, дом, огонь? Вслушиваясь, он хватался за голову, морщил брови, а глаза метали искры.

Парень удивлялся, сгорал от любопытства, вздыхал, ломал руки и поминутно напоминал больному, что нельзя громко разговаривать.

— Был ли здесь старый Бернард? — спросил он, наконец. — А что он у вас делал? Он никуда спроста не ходит. Его посылают на разведки, когда другие не могут докопаться. Хитрый он и старый;

как взглянет, так насквозь и видит. В замке он как будто ничего не значит: такой же брат, как прочие; сам не начальство, с начальством не знается, держится в сторонке. И должности у него никакой нет... а все старшие его боятся, что хочет, то и может. Всюду вотрется, дверей перед ним не закрывают; подсматривает, подслушивает, догадывается. И как взглянет на кого, так мурашки и побегут по коже. Не напрасно подослали его к вам... Не проговорились ли вы о чем-нибудь?

На этот вопрос Юрий только презрительно и гордо пожал плечами.

— Ого! — сказал он. — Ни слова из меня не выжали!

— Госпиталит, — продолжал парень, — тот грубиян, притва ряется сердитым, лается, дает пинки... но сердце у него доброе. Бранит больных, которые не хотят выздоравливать, а ходит вокруг них и день и ночь, как мать родная. А этот!.. Иной раз, как взглянет... так, кажется, и съест глазами!

Больной уже опять погрузился в свои мысли, но вдруг, точно проснувшись, закричал:

— Кунигас? Кунигас?

— Да, да! Так у нас зовут самых что ни на есть больших панов, — отозвался парень.

— Я хорошо помню, — сказал Юрий, ударив себя рукою по лбу, — что так звала и уговаривала меня женщина, ходившая за мною в детстве.

Малец, весь обратившись в слух, взметнул руками; а потом, закрыв ладонью рот, знаком показал больному, что лучше замолчать. Он даже вскочил с испугу.

— Ради Бога, ради Бога, тише, тише! — шептал он. — Меня уже дрожь зашибает! Если бы они догадались, что вы вспомнили об этом с моей помощью, конец мне... Да и с вами бы что было! Тихо, государик мой! Молчите!

Юрий думал, облокотившись на руку. По морщинам, избороздившим лоб, можно было видеть, как работала в нем мысль, усиливаясь воскресить из мрака прошлого давно померкшие воспоминания. Пот каплями струился по его вискам.

— Литва! Литва! — повторял он раз за разом. — Говори мне о Литве. Ты наверно должен помнить ее лучше, чем я... ты видел ее, ходил по ней вместе с ними. Меня же они редко когда выпускали за ворота. А в дальние походы, хотя я и просился с ними раньше, чем открылось, кто я, они не хотели брать меня. Уверяли, что я слишком молод, велели ждать... Литва! — повторил еще раз Юрий, пристально вглядываясь в парня; а тот вздрагивал, слыша это имя, и добродушное лицо его подернулось печалью. — Литва... Расскажи мне о Литве!

Подросток горестно задумался, сжал руками

голову и стал раскачивать ее медлительным движением. Наконец со стоном, вырвавшимся из глубины души, начал говорить:

— Литва! Ой, Литва! Иной край, иные обычаи, иной мир и люди! Она, как живая, у меня перед глазами и назойливо напоминает о себе в снах. Столько лет прошло, а я, как бы вчера, чувствую еще на шее веревку, за которую меня тащили. Литва, кунигас мой, где она? Где теперь такая Литва, которая не видела еще меча крестоносцев? Литва, какую сотворили ее для нас боги?.. Здесь, в заливах, куда ни посмотри, везде работа человека; а человек портит Божье дело. Там не то. Растут непроходимые леса, безбрежные пущи; а по ним бродят дикие звери и такой же дикий человек. И зверь, и птица, и человек, и дерево — все родные братья. Медведи говорят с людьми, собаки с птицами, и друг друга понимают. По-братски друг друга убивают, но по-свойски разговаривают.

«Лось перебранивается с охотником; и кукушка распевает девкам песни, а девки у кукушки учатся. Даже ветер и буря, и те воют понятным для нас воем... А когда заскулит дуб Перкуна, вейдалоты слушают и объясняют...

О, сударик мой, и что за жизнь там, какая свобода в лесах и в полях! Какие песни и какой серебристый смех звучат там, где не побывали

крестоносцы! А там, где они прошли, прошла с ними смерть.

Правда, там нет ни таких одежд, ни утвари, ни каменных домов. Там все нараспашку, двери хат стоят настежь, земля — для всех. Бог всюду царит свободно: живет, где хочет... так же человек... Вся земля вдоль и поперек не размежевана, а лес бесхозный. А кунигас сидит на высоком городище только для того, чтобы видеть, не подходят ли издалека враги; а господствует он, чтобы защищать от них народ. За то дают ему отсыпное и подымное».

Парень задумался, а потом прибавил:

— На Литве нет людей, как здесь, которым грех взглянуть на женщину или пошутить с девкой. Наши вейдалоты и вейдалотки гуляют на свободе; жениться и выходить замуж им не вольно, но смеяться и распевать могут всласть. Ходят с венками в волосах, приветно улыбаются друг другу и всему миру. Мы сидим здесь взаперти, как скот в хлеву; на Вышгород не впускают даже старой бабы, чтобы рыцари не вспомнили о девках... Ой, Литва! — вздохнул он. — Кунигас мой, мир иной и лучше здешнего... Только для нас он на запоре!

Юрий сидел молча; оба вздыхали.

— А помнишь ты Литву? — спросил больной.

— Я-то? Да лучше вашего, — отвечал парень. — Меня взяли из лесу от убитых отца да



матери не махоньким; я уже и по земле ходил и на деревья лазил, как кот. Я бы убежал... да только, когда меня спустили с привязи, было уж слишком поздно. Вначале конюх их зацепил меня петлей и потащил с собой, окровавленного и избитого, а я выл, как волк, от боли и со страху. Потом нас всех, изловленных, позапирали в клетки; а мы клетки подожгли, чтобы сбежать... Не помогло... переловили... Стали тогда бить и мучить, чтобы заставить забыть родной язык и песни и научиться болтать по-ихнему... Только я глубоко запрятал все, что принес в душе из лесу... и этот клад им удастся вырвать только с жизнью. Они не отучили меня любить свое, но научили лгать...

При этих словах он усмехнулся, дико и коварно.

— Спросите их обо мне! Скажут, что лучше и послушнее меня нет на свете парня! А я что? Я кланяюсь им в землю, целую подолаы их плащей, восхваляю их, благодарю, смеюсь... пусть думают, что я невесть как счастлив. А что у меня в душе — то мое!

И полунараспев, полуворча, прибавил:

— Кто знает? Кто там знает? Кунигасы еще не перевелись; народу — тьма. Может быть, придет черед и на Литву, встрепенутся и ее сыны...

Юрий не ответил. В голове его шумело и ходило колесом: «Кунигас! Кунигас!»

Лампада стала гаснуть и шипеть. Парень, встревоженный, вскочил, боясь опоздать. Он подошел к задумавшемуся больному и низко склонился перед ним.

— Кунигас мой, — шептал он, стараясь поймать руку Юрия, — не убивайтесь. Не мужское дело хныкать. Мужчине пристойно изливать свой гнев, женщине свою тоску. Она поет о ней и облегчает душу, когда душа исполнена страдания. Мы же должны носить его в себе, как яд. Жить надо... почему знать? Да, почему знать? — повторил он. — Придет наш час, и засияет день над детьми Литвы!

Юрий взглянул на парня и слегка хлопнул его по плечу.

— Иди! — сказал он. — Пора! Госпиталит никогда не ложится и часто бродит по ночам. Что если он тебя застанет? Возвращайся восвояси; а завтра, если удастся улизнуть, приходи опять рассказывать мне о Литве. Ты первый открыл мне, кто я такой и разбудил во мне уснувшие воспоминания. Сон ли это? Или память о былом? Или дьявольское искушение?

— Дьявольское? — недоверчиво засмеялся парень. — У нас на Литве нет дьяволов, а только меньшие боги, слуги наибольшего Бога, то добрые, то злые, как Он прикажет.

— Молчи, безумный! — воскликнул Юрий. —

Не путай божественное с человеческим! Что ты можешь знать!

И он опасливо, украдкой, осенил грудь крестным знаменем.

Но этого движения Рымос не заметил. Он поспешно выскользнул через полуоткрытую дверь и, как мышь, тихо прошмыгнул в общую лазаретную палату, на свою пустую койку.

## II

Мариенбургский (Мальборский) замок — хотя позднее его достраивали, увеличивали и кончали — уже в то время имел, в общих чертах, тот величественный вид, о котором многие из нас могли судить по его развалинам раньше, чем безвкусица, внесенная неумелой реставрацией, вдохнула призрачную жизнь в омертвелый труп.

На самом гребне горы стоял Вышгород (Hochburg), первая по времени постройка, в которой помещался костел, подземное кладбище (пещеры, катакомбы) и капитул ордена. Ниже, отделенный глубоким рвом, находился средний замок, где протекала повседневная жизнь крестоносцев. Еще ниже, к лугам и речке Ногат, тянулись нижнезамковые поселения с хозяйственными постройками и жилищами для челяди, оруженосцев и прислуги.

В те времена ходила слава, что все три ограды, ставшие впоследствии столицей монашеского ордена, отказавшегося от борьбы с неверными на востоке, были соединены между собою на случай опасности подземными ходами, потайными лестницами, секрет которых был известен только высшему начальству ордена.

Для ежедневных совещаний, в которых участвовали великий магистр ордена, великий комтур, маршал и казначей, а по временам и некоторые из старших рыцарей, служил средний замок. Собирались в так называемом рыцарском зале, своды которого опирались на единственный гранитный столб.

В этом-то зале на другой день после описанных событий сошлось все начальство ордена. Члены совещания восседали на каменных скамьях вокруг огня, пылавшего на огромном очаге.

Виднелись только белые плащи да рыцарские заостренные черты лиц с угрюмым выражением, наморщенными бровями, щеками в глубоких складках, с широкими грудными клетками, как бы созданными для доспехов и к доспехам привыкшими.

Почти братское сходство лиц находило объяснение в общности происхождения, — ибо в те времена в орден принимались только немцы, — в дворянской крови и образе жизни, налажавшем на

всех одну печать. И, тем не менее, почти каждое из мужественных лиц, дышавших глубокою нравственною силой и царственным величием, принимало резко индивидуальный характер, как только дело касалось жизненных интересов ордена.

Великий магистр стоял ближе к огню. Он был человек строгой и суровой внешности, но с неприятным выражением лица. Глаза его беспокойно бегали, он кусал губы, морщил лоб и, хотя находился среди своих присных и ближайших, все же, по-видимому, посматривал на них с недоверием.

Неразлучный спутник великого магистра ордена, недавно приставленный к нему компан (товарищ), ни на минуту не оставлял магистра с тех пор, как фон Орселен был убит мстительным Эндорфом. Теперь он стоял поодаль, у самой двери, которая соединяла маленькое зальце с собственными покоями магистра.

Компан был самый младший из присутствовавших: юноша с быстрым взглядом и красивой внешностью. Он умышленно держался в стороне, как бы не обращая внимания на начальство, в совещаниях которого не смел принимать участия.

Стоя на страже, он не мог отойти от своего поста.

Звали его граф фон Хеннеберг.

Магистр Людер, кроме нервного лица и великого высокомерия, опиравшегося на княжеское происхождение, ничем особенным не отличался.

Лица великого комтура, маршала и казначея, сановников, входивших в состав тайного совета, были гораздо выразительней и заставляли думать, что, хотя исполнительная власть была в руках магистра, власть направляющая целиком принадлежала этим трем советникам, спокойным, исполненным самоуверенности и проникнутым сознанием великой миссии, выпавшей на их долю.

Сверх великого магистра и остальных, только что упомянутых сановников, присутствовал также рыцарь Бернард, с которым мы познакомились вчера. Одет он был так же как в часовне; так же старался, по-видимому, стусеваться и подчеркнуть, что не имеет официального положения и значения, и сидел в темном уголке, на лавке, притворяясь немым и равнодушным зрителем.

На лице магистра Людера явно отражались, кроме беспокойства, утомление и скука: как бы протест против насильственного привлечения на заседание, тогда как он нуждался в отдыхе.

Разговор велся вполголоса, как бы в виде предисловия к общему совещанию.

Комтур несколько раз, собираясь приступить к делу, взглядывал на компаня Хеннеберга. Видя, что многозначительные взгляды остаются втуне, он

подошел поближе, пошептался, и компан медленно исчез за дверью.

Магистр Людер нетерпеливо толкнул ногой полено, скатившееся с очага, осмотрелся и пробормотал:

— Говорите... начинайте... слушаю!..

— Лучше всего, если тайну, имеющую великое значение для ордена, доложит и объяснит вам брат Бернард, — сказал великий комтур, взглянув на рыцаря.

Магистр, насупившись, бросил грозный взгляд на сидевшего в углу орденского брата. По выражению лица легко было заключить, что он не любил Бернарда.

При упоминании своего имени, тот медленно привстал, как бы равнодушный ко всему происходившему, и мерным шагом подошел к группе у камина.

Все молчали, а Бернард собирался с мыслями, но вполне спокойно, хладнокровно. Эти несколько шагов по направлению к великому магистру, всей своею внешностью выражавшему неодобрение, не произвели, по-видимому, на Бернарда никакого действия. Он был поразительно уверен в своих силах.

— Говорите же, брат Бернард! — подтвердил маршал.

— Дело важное, — сказал Бернард, — и никто

не знает его лучше меня. Надо что-нибудь предпринять, время не терпит. Я хочу говорить о том отроке, литовском княжиче, которого мы с лишком десять лет тому назад отняли у матери, воспитали с сокроенной целью. Я был его блюстителем и по моему совету мы вырастили его здесь, чтобы со временем воспользоваться им как орудием для избежания кровопролития. Мальчик...

Великий магистр пожал плечами, покачал головой и перебил:

— Не велика была заслуга выкормить этого дикого волчонка. Какой в нем толк? Лучше было б разmozжить ему голову о первую сосну.

Брат Бернард презрительно засмеялся, как будто не понял насмешки.

— Может пригодиться, — сказал он равнодушно. — Мать, вдова, владеет на границе полосой земли; там у нее сильно укрепленный город, овладеть которым трудно. Она очень тоскует о сыне... Кто знает?... Ребенком мы воспитали его в христианской вере, и он привязался к нам: вот и готовый для нас союзник и вассал. Сдается мне, что цель заслуживает затрат, сделанных на воспитание...

Магистр вторично пожал плечами и рассмеялся.

— Я бы предпочел иметь на городище несколько сот рыцарей да несколько тысяч верных



жителей — одному такому заложнику. Мать успела переболеть горе и забыть о сыне. На самого же — плоха надежда: кровь может в нем заговорить. Тогда весь расчет не стоит и десятка копий.

Сверкнув глазами, Бернард нисколько не смутился. После великого магистра стал говорить маршал, посматривая то на рыцаря, то на своего главу. Среди высших представителей ордена скромный брат пользовался большим уважением; только магистр относился к нему пренебрежительно.

— В то время, когда ребенок достался нам, — сказал маршал, — совет ордена был того мнения, что пленника необходимо воспитать и сделать из него рыцаря. Ныне же надо использовать то, что нам досталось в наследство от прежних лет.

— Не утаю, — сказал спокойно Бернард, — что возникли новые затруднения. Там, где дело касается ордена, нестыдно сознаться в ошибке; даже следует. Воспитание юноши шло до сих пор чрезвычайно удачно, так что именно теперь можно бы было попытаться предложить матери ценою возвращения сына уступить ордену полосу земли. Например, потребовать за него Пиллены. Он христианин, преданный вере; вернувшись в Литву, стал бы служить не ее интересам, а нашим.

Заключение брата Бернарда пришлось, по-видимому, по душе всем начальствующим,

переглянувшись между собою, как бы в знак одобрения. Только великий магистр ордена продолжал стоять у камина с таким же презрительным и неубежденным видом, как раньше.

— В такие подходы я не верю, — проворчал он с неудовольствием, — моя сила в мече, победа — в войне. Спорить с Польшей, с Литвой, с Поморьем, препираться словами, нести свои жалобы на суд апостольского престола — все это волокита. Теряем даром и время, и деньги. К чему нам это? Весь мир — вдоль и поперек — к нашим услугам. Для Крестовых походов против язычников стекаются к нам рыцари из Германии, Англии, Франции, одним словом, со всего христианского мира. В них наша сила, и другой нам не надо. Воевать, таская детей, — пустая забава.

Никто не противоречил взглядам магистра; но, равным образом, ни один из присутствовавших не поддержал брошенного Бернаруду упрека. Начальники стояли молча, а когда магистр повернулся к ним, то легко уразумел, что, хотя никто не был против него, но зато никто не был и на его стороне.

— Все средства хороши, которые ведут к цели, — сказал после продолжительного молчания великий комтур, — не будем же легкомысленно отвергать тех, которые даны нам самим

Провидением.

Магистр пожал плечами.

— Кто затеял, пусть доводит до конца, — прибавил он, взглянув на Бернарда, — что сделано, то нельзя вернуть назад.

— Действительно, я спас этого ребенка и на него рассчитывал, — перебил Бернард.

— Ну, так и делайте с ним, что хотите, — проворчал магистр, не давая Бернарду окончить.

И великий магистр повернулся лицом к огню, как бы не желая, чтобы хладнокровный Бернард видел его омраченное лицо.

— При моих предшественниках, — начал он, — хотя я и не отрицаю их заслуг, понаплодились Эндорфы. Каждый хотел командовать по-своему, каждый гонялся за личными заслугами, тогда как по уставу у орденов рыцарей не должно быть ни собственного платья, ни своего коня, ни славы, ни спасения. Всяк и делал, что ему взбрело на ум; но впредь этого не будет.

Бернард медленно ответил:

— Если вы ставите мне в упрек то, на что согласился весь капитул, то созовите совет, пусть меня судят. Я предстану перед судилищем; не буду уклоняться. Назначьте наказание, посадите на хлеб и на воду, а то и вместе с Эндорфом...

Магистр отвернулся с искаженным от гнева

лицом.

— Довольно! — сказал он. — Чтобы отдать под суд, не надо вашего согласия. И хотя вы, заурядный рыцарь, приобрели здесь вес и значение, не подобающие вашему званию и степени, хотя вы мешаетесь во все и хотите всем командовать, я... вас не боюсь... нет, не боюсь!

Бернард поклонился гордо и смиренно в одно и то же время.

— Ничего не присваиваю я такого, на что не имел бы права каждый рыцарь. Я всегда повиновался и повинуюсь орденской власти.

С этими словами брат Бернард поклонился сперва магистру, потом остальным присутствовавшим и удалился через дверь, выходящую в пустую еще трапезную. Шаги его долго слышались по каменному полу, и мерный отзвук их не стал поспешнее после столкновения с орденским главою.

Великий комтур, бывший вместе с маршалом первым представителем власти после магистра ордена, подошел тогда со знаками глубокого чинопочитания, но без робости, вплотную к Людеру, который продолжал смотреть вслед удалявшемуся Бернарду.

— Ваша милость, — сказал он мягко, — отнеслись к нему с предубеждением. Вы обошлись с ним чрезвычайно резко. Мы привыкли уважать

его. Заслуги его перед орденом велики и длятся много лет. В особенности же необходимо принять во внимание, что капитул неоднократно предлагал ему высокие выборные должности, а он их отвергал.

— Так! — возразил магистр. — Он предпочитал, не имея ни звания, ни определенных обязанностей, вмешиваться в дела управления, быть соглядатаем и тайным воротилой. Ни над собой, ни рядом с собой я не потерплю секретного сотрудничества.

Высшие орденские чины обменялись взглядами, а великий ком-тур, считая, вероятно, дальнейшие пререкания с начальством неудобными, прекратил спор.

Конечный оборот, данный разговору, омрачил чело Людера. Возможно, что он раскаивался в неосмотрительных речах, напрасно выдавших его тайные намерения. И, обернувшись к маршалу, он стал расспрашивать о подробностях готовившегося набега на Литву.

Ему подтвердили, что все готово, но что необходимо обождать наступления морозов, которые скуют болота и трясины.

Великий комтур кстати сообщил о подходивших из Германии дружинах добровольцев.

Однако успокоительные новости не развеселили магистра. Он продолжал хмуриться,

как будто еще не совладал с гневом против Бернарда.

Мгновение спустя, пройдясь раз и другой по маленькому залу, он остановил взгляд на двери, выходящей в его личную молельню и опочивальню: на той самой приснопамятной двери и проходе, в которых был убит Орселен... взглянул и с легким поклоном всем присутствовавшим удалился в свои покои. Ожидавший за порогом компан Хеннеберг распахнул перед ним дверь.

Остальные также стали собираться восвояси.

— Магистр несправедлив к Бернарду, — вполголоса молвил казначей, — он, очевидно, мало его знает.

Все согласились, кивая головами.

— Действительно, он муж, заслуживающий уважения и имеющий высочайшие заслуги перед орденом, — прибавил маршал, — все, так или иначе, проникнуты себялюбивыми поползновениями: все мы люди... Он же никогда ни о чем другом не думал, кроме о возвеличении ордена, о его блеске, и почти отрекся от всяких человеческих желаний с тех пор, как одел орденское платье и сжился с ним...

— Он не имеет для себя ни славы, ни значения, — прибавил комтур, — Люд ер впоследствии оценит его.

— А за Бернарда можно поручиться, —

сказал, улыбаясь, маршал, — что он никогда не будет вторым Эндорфом. И не только не способен на убийство, но сам себя с готовностью принесет в жертву ордену.

Огонь понемногу совсем погас в камине, и начальство стало расходиться.

Великий комтур очень принял к сердцу, что Бернард ушел обиженный несправедливыми упреками. Прямо из рыцарской залы он направился в его келью, но не застал Бернарда.

Келейка, которую старый рыцарь занимал по молчаливо закрепленному за ним праву один, тогда как многие другие жили по двое, была совершенно лишена каких бы то ни было удобств, делающих жилище комфортабельным. Чисто монашеским убожеством дышали ее голые стены, твердый кирпичный пол, частью только прикрытый плетеною из тростника рогожею; постелью служили чуть ли не нары; в углу валялась конская сбруя, не украшенная, по старинному уставу, ни единой побрякушкой.

Тогда как у других рыцарей всегда бывало в кельях кое-что, говорившее о личных вкусах, привычках и капризах, келья Бернарда служила лучшим доказательством, что жил в ней человек, равнодушный ко всему мирскому. Самый строгий взор не нашел бы в ней ничего, идущего вразрез с первоначальными суровыми правилами ордена,

значительно смягченными уже в описываемое время. С уважением осмотревшись в комнате анахорета-воина, комтур уже собирался удалиться, когда вошел хозяин. На лице его не видно было никаких следов гнева или возмущения за понесенную обиду. Он возвратился, явно занятый совсем иными мыслями, и, увидев на пороге великого комтура, с почтением его приветствовал. Они вместе вернулись в холодную каморку.

— Брат Бернад! — обратился к нему без всякого вступления орденский сановник, стараясь говорить веселым тоном. — Я пришел утешить вас. Людер вас не знает и очень ревниво оберегает свою власть; надо извинить его.

— От всего сердца! — воскликнул, улыбаясь, Бернад. — Дело не в нем и даже не во мне. Все мы служим единой великой цели, мы орудия: пусть орудия портятся и гибнут, лишь бы цель была достигнута.

— Святые речи, — подтвердил комтур, — поступайте так, как говорите.

— И не думаю в чем-либо поступиться, — возразил Бернад, — для меня главное, что великий магистр предоставил мне полную свободу действий. Доведу начатое до конца; если же не удастся...

— А почему бы могло не удалиться? — спросил комтур.



Бернард слегка наморщил брови.

— Потому, — сказал он, — что все человеческие начинания непрочны; что сильнейший может стать жертвою песчинки, если, не заметив ее, поскользнется. Так и я... Воспитывал мальчика, растил себе на радость, а теперь...

— Болен?.. Выздоровеет... — равнодушно сказал комтур.

— Брат госпиталит ни за что не ручается: сохнет парень, — возразил Бернард, — я хожу, слежу, ничего не вижу, но чувствую, как будто тень пала на молодую душу: больно не тело, он весь изменился, боюсь...

Бернард не окончил.

Великий комтур, собираясь уходить, положил руку на его плечо и весело сказал:

— А я ничуть за вас не опасуюсь, ни за ваши планы. До свиданья.

И ушел.

В комнате было почти совсем темно. По уходе комтура двери отворились, и мальчик принес лампадку, заслоняя огонь ладонью.

— Где Швентас? — спросил тихо Бернард. — Ты звал его? Слуга в ответ только кивнул головой и удалился. Не присев ни на минуту, рыцарь большими шагами стал ходить по комнате, явно кого-то поджидая. Как только в коридоре раздавались шаги, он останавливался и

прислушивался.

Внезапно дверь открылась. В комнату ввалилось маленькое, толстое, неуклюжее существо, напоминавшее во мраке скорей медведя, нежели человека; сопя и испуская стоны, оно согнулось в три погибели и ожидало, точно прикованное к полу.

Вспыхнувшая ярче светильня лампы позволила ближе присмотреться к этой странной человеческой фигуре.

Круглое, большое, веселое, загорелое лицо, обросшее снизу редкою растительностью, не отличалось ничем, разве заурядным и довольно внушительным уродством. В нем не было ничего характерного: обычное простонародное, состарившееся в тяжких трудах лицо; закаленное, приниженное и привыкшее к своей доле.

Широкоплечий, с грубыми руками, сильной грудью, толстыми, как пни, ногами, человек этот всей своей приземистою внешностью, как бы вытесанный из одного обрубка, мало чем отличался от животного. И на что мог пригодиться умному Бернарду такой слуга, место которому было в стойле, у коней?

А все же Бернард с оживлением вышел ему навстречу и заглянул в глаза.

Швентас ответил на его взгляд, и тусклые зрачки его сверкнули, если не умом, то хитростью и

изворотливостью, которых незачем было скрывать от глаз хозяина.

Ясно, что в этой бесформенной колоде таилось нечто обросшее слоем мяса и скрытое под толстой кожей.

Глаза выдали его, и он опустил их в землю.

С юродивой усмешкой, и льстивой и радостной в одно и то же время, Швентас нагнулся, поймал кончик белого плаща Бернарда и униженно поцеловал.

Он ждал приказаний.

— Ну, в путь-дорогу! — приказал шепотом Бернард и приложил палец к губам.

— Добре, отец родной, в дорогу, так в дорогу! — хриплым голосом ответил Швентас на ломаном немецком языке с сильным чужим акцентом. Говоря, он все время смеялся и скалил ряд мелких острых зубов. — В дорогу, так в дорогу! — повторил он. — Разве я когда-нибудь отнекиваюсь по болезни, как другие? Я всегда готов: палку в руки и ступай!.. Э?.. Но куда? — спросил Швентас, с любопытством сверкая глазами.

Бернард помолчал.

— А если бы на Литву? — шепнул он.

— О, а! Что же в том особенного? — рассмеялся Швентас. — На Литву, так на Литву! Не бывал я там, что ли?

— Не только пробраться надо на Литву, но и

вернуться целым: в том-то вся и штука, — прибавил рыцарь, — надо сходить, умненько разведать какую требуется подноготную и доложить мне.

Швентас вместо ответа ударил себя в грудь.

— Но берегись! — молвил Бернард. — Берегись, литовская ты бестия! Смотри, когда выскочишь на волю, не пустишь во все нелегкие, не вернись к дикой жизни и языческим обычаям! Если изменишь ордену, достану тебя из-под земли и повешу, как собаку!

Старик качнулся всем телом и чуть не подскочил, услышав грозный окрик Бернарда. Он стиснул кулачища и поднял руки.

— Точно вы меня не знаете! — закричал он почти гневно. — Мало ли я ходил туда для вас? Не раз и не два, а десятки раз, высматривая, подглядывая и возвращаясь с верными сведениями? Что мне, сладко что ли с этими дикарями да язычниками? Разве вы не знаете моей жизни, моего сердца? Ведь я сам дался вам в руки, чтобы мстить своим до конца жизни, пока дух в теле. Повесили они меня; только вот мать перерезала веревку. Девку мою отняли, хату спалили, и все несправедливо. Они мне не братья и не кровь моя, а враги. Потому-то я и передался вам.

Рыдания заглушили его слова; успокоившись, он кончил:

— Куда идти, отец родной? Лишь бы крови у них выцедить, пойду, всюду пойду!

Бернард больше не раздумывал. Он нагнулся и спросил:

— Знаешь, где Пиллены?

Холоп головой и бровями показал, что знает.

— Там сидит...

— Старая Реда, жена кунигаса, — перебил Швентас, — та самая, у которой отняли и убили малютку сына. Бешеная баба: одна троих мужчин стоит. Залезть к ней — все равно что в осиное гнездо либо в муравейник.

Бернард взглянул на говорившего.

— Не хочется? — спросил он. Швентас засмеялся, широко раздувая щеки.

— Я не боюсь ни ос, ни муравьев, — сказал он, — на что же дал нам Бог ум и хитрость?

При этих словах он сделал перед собой руками какой-то знак.

— В Пиллены надо не только пробраться, — молвил рыцарь, — но и пожить там. Реда, верно, оплакивает сына; думает, как и ты, что он убит. А что, если он жив?

Швентас снова стал смеяться.

— Жив? О! О! За живого можно взять хороший выкуп! — сказал он, мотая головой, и прибавил, понизив голос: — Все равно, жив либо нет, можно всегда подобрать ей мальчика под масть и

возраст... через столько лет не разберется...

— Может быть, его и не убили, когда взяли, — продолжал рыцарь сдержанно. — Слушай же, Швентас, как ты... ну... что ты о себе скажешь?

— В Пилленах-то? — молвил, раздумывая, старый парень. — А как знать?.. Да как случится!

— Скажи, что ты из пограничных мест; кем же ты будешь? — спросил Бернард.

— Как кем?.. Ну... нищим, ворожеем, может быть, бродягой?

— Расскажи ей, будто слышал от людей, что ходят слухи в замках крестоносцев о том, как немцы вырастили ее дитя и оно живо.

Швентас забил в ладоши.

— Я их оболгу, как следует, не бойтесь, — прибавил он со смехом.

Бернард задумался. Дальнейшее надо было хорошо обмыслить. Ему не хотелось совсем довериться полудикому посланцу, а тот пронирыливыми взглядами, казалось, вызывал у него из души тайну за тайною, а по лицу его блуждала хитрая усмешка.

Бернард прошелся взад и вперед по комнате.

— Ну, пока довольно, — сказал он, — ступай, делай как сказано и смотри в оба, как она примет вести, как откликнется на них ее сердце. Она — мать.

— Она баба! — поправил Швентас. — Но я

много о ней слышал. Жажда мести давно сделала из нее мужчину. Она только одной и дышит мезтью за того ребенка.

— Тем лучше, — перебил Бернارد, — а что будет, когда узнает, что он жив?

Швентас закрыл рот обеими руками и, точно разговаривая сам с собой, стал трясти и ворочать головой. Трудно было разобрать, смеялся ли он, или удивлялся, или беспокоился. Может быть, смеялся, но смех был не такой радостный и откровенный, как раньше.

Бернارد подошел к нему и еще раз повторил все, что ему внушал. Холоп, кивая головой, поддакивал каждому слову, а оживленный взгляд доказывал, что он хорошо понял свою роль. Когда Бернارد кончил, Швентас еще раз ухватил подол его плаща и поднес к губам. Потом поклонился почти до земли, повернулся и выкатился вон из комнаты.

Бернارد остался один. Его не взволновали ни слова великого магистра, несомненно, обидные для кого бы то ни было, распоряжения, данные Швентасу в столь важных обстоятельствах. Ничто не возмутило спокойствия рыцаря, закаленного долгими годами послушания. Он уже опять ходил взад и вперед, обдумывая какое-либо иное начинание во славу ордена, и, стараясь сосредоточиться, временами останавливался,

проводя рукою по лбу.

Постучали в дверь... Бернард удивился столь поздним посетителям, однако, пошел и отворил. На пороге, осторожно и медленно переступая, показался с костылем в руке сгорбленный и очень старый человек, одетый в орденское платье. На нем была монашеская ряса без плаща, без креста, без иных отличительных эмблем; но с первого же взгляда чувствовалось в посетителе сознание собственного достоинства, как бы заявление о правах на нечто, ему не предоставленное.

Из-под черной скуфейки, которую посетитель не снял при входе, серебрились белые, как снег, волосы; коротко подстриженная борода и седые усы обрамляли красивое лицо, изрезанное глубокими рубцами.

Один из них кровавой лентой пересекал нос и щеки; другой глубоким шрамом зиял на виске. Одну из ног, полупарализованную, старец грузно влек за собой; костлявые пальцы рук были опухлы и искривлены.

Весь он представлял развалину; но развалину красивую, вызывающую уважение. Углы рта, изборожденные морщинами, сохранили гордое и мужественное выражение. Но к гордости примешивалась горечь, дышавшая сарказмом и тоскою.

Гость                      был                      старейший                      из



рыцарей-крестоносцев, подвизавшихся на литовской границе: Курт, граф Хохберг, родом с Рейна. Несколько десятков лет тому назад, после семейных неурядиц и бурной жизни, он выбрал себе уделом борьбу с язычниками и остался здесь на всю жизнь.

Израненный в боях, неоднократно остававшийся лежать на поле битвы в числе павших, всегда искавший смерти и чудом от нее спасавшийся, он потерял всякие земные связи и точно прирос к своему каменному гробу. Братья неоднократно хотели избрать его комтуром или казначеем; сам он, несомненно, мог претендовать на звание великого магистра; однако, подобно Бернарду, он всегда отрекся от бремени начальственного положения и почти в равной с Бернардом степени горячо интересовался только судьбами немецкой колонии меченосцев в этом крае, близко принимая к сердцу ее интересы.

Но Бернард жил еще кипучей деятельностью; Курт уже только жаловался и ворчал, да усердно выслеживал всякие измышленные новшества. Старинные заслуги заставляли братию выносить его причуды, хотя порой он подносил им слишком печальные истины.

Старый граф редко выходил из своей комнаты; а осенью или зимою, когда в особенности были поломанные кости, он целыми днями

просиживал у камелька, закутанный мехами. Визит его к Бернарду был событием, и тот сейчас же догадался, что приход графа находится в связи с нападками великого магистра.

Курт счел долгом, раз брата постигло огорчение, придти к нему с выражением сочувствия.

— А что! А что! — воскликнул он с порога. — Мастер Людер показывает зубы! Не терпит, чтобы кто-либо, помимо него, смел проявлять здесь инициативу! Уж придрался к вам!

Бернард равнодушно пожал плечами.

— Жаль мне вас! — продолжал шепелявить монотонно старец. — Жаль сердечно!.. И конца этому не будет! Молодые станут теперь переделывать на свой лад наш старый орденский устав, пока не обратят святые правила в посмешище.

И дрожащею рукой он делал в воздухе угрожающие жесты. Бернард, видя, с каким трудом он держится на больных ногах, пододвинул ему единственную скамейку. Курт сел со стоном.

Хозяин знал, что будет: предстояло выслушать от начала до конца все, что накопилось в измученном сердце и наболевшей голове старого крестоносца за много лет молчания.

— Помню, — начал граф, отплеываясь и не давая Бернарду сказать слова, — другие времена,

других людей... помню исконный устав наш, такой, каким принесли его сюда из Палестины... одно только могу теперь сказать: его ведут к гибели! Бога уже нет... устав в пренебрежении... рыцари разбойничают... Разврат! Заносчивость!.. Чем дальше, тем хуже!

— Будущее представляется мне далеко не таким мрачным, — начал Бернард.

— Потому что ты сам слишком добр! — перебил Курт. — А, по-моему, дела очень плохи! Моим глазам не суждено уже увидеть... но орден падет, как мул в пустыне, отягченный золотом; и враны выклюют ему бока и растащат внутренности...

Бернард собирался выступить в защиту ордена, но старик не дал ему сказать слова.

— Ты мало помнишь былые наши годы, — начал он, — времена были иные, лучшие. Дух был иной; мы на самом деле были рыцарями Креста Господня и настоящими монахами... а теперь мы рыцари-разбойники! К походу мы готовились постом; шли, величая в песнях Богородицу; не надо нам было ни удобных постелей, ни золотых цепей на шее, ни вина для подкрепления в пути, ни компанов, ни толпы слуг для несения оружия и тяжестей. Все были равны... а ныне?!

— Мы и теперь не чувствуем неравенства, — молвил Бернард.

— Вот тебе на! — вставил Курт. — А откуда взялись серые плащи? У кого в восходящем поколении нет четырех гербов, ведь должен носить серый? А такой же дворянин, как и другие! Герб гербом... а кто не богат и кому никто не ворожит из сильных, так будь он расхрабрец, а на него напялят серый! А эти серяки дерутся лучше беляков! Вот тебе на! — повторил еще раз, ворча, старик. — Давно ли великий магистр завел компана... а теперь уже всем бе-лоплащникам они понадобились... да не по одному, одного будет скоро мало. В давние времена только в великие праздники давали кубок подкрепительного, а теперь его разносят флягами по кельям. Прежде ни у кого не было даже собственного одеяния, а теперь ни один белый не пойдет в гости без шейной цепи, а у иных туго набиты сундуки. Прежде нельзя было слова молвить с женщиной, а теперь?.. Хе! Теперь у начальства по городам завелись лапушки...

— Отче! — перебил Бернард с упреком.

— Брате! — сказал старик. — Я не лгу и не осуждаю, а говорю правду, как Бог свят! И только потому, что у меня сердце разрывается, потому что любил и люблю святой орден Креста Иисусова и гнушаюсь орденом Вааловым...

Он вздохнул.

— Какой конец! — воскликнул он после нескольких минут молчания, вперив в пол угасшие

зрачки. — Такой же, какой постиг храмовников! Возможно, еще худший! Короли польстятся на наши богатства, а папа отречется от своих заблудших сыновей.

— Но ведь, слава Богу, мы еще не богоотступники и не идолопоклонники, как тамплиеры, — возразил Берnard.

— Формально, нет; на деле, да! — воскликнул старец. — Кто не живет по Божьему, тот отступил от Бога.

Измученный, Курт задыхался и прижал руку к бурно колыхавшейся груди.

— Благодарю вас за сочувствие, — вставил, пользуясь перерывом, Берnard, — только я не так сильно принимаю к сердцу слова Людера. Пусть действует и думает, как хочет; я буду продолжать начатое дело.

— А я свое, — сказал старик, — смелые речи также на что-нибудь да пригодятся, раз уже не хватает сил в руках.

Он вздохнул и спросил более мягким голосом:

— Что ж значит? Гневается из-за того юнца, которого вы воспитывали по человечеству и по христианству и поступили вполне разумно! Он и этого понять не хочет!

И Курт засмеялся иронически.

— На беду он у меня расхворался, — сказал Берnard.

— Поправится! — ответил равнодушно старец. — В его возрасте болезнь не страшна. Пусть подрастет. В нем бунтует кровь. Посадить его на коня и дать перебеситься!

— Отец-госпиталит сказал, что на коня ему уже не сесть, — грустно молвил Бернард.

— Отдайте его на службу кому-нибудь из комтуров: пусть будет ему немного повольготней, — пробурчал старик.

— Я также о том думал, — сказал Бернард, — давал такие же советы....

И не кончил... Старик явно не придавал болезни особого значения. Он, который сам перенес столько и остался цел, не мог понять, чтобы какая-то болезнь могла угрожать жизни. Он торопился всласть наворчаться и нажаловаться на все, что стало ему поперек горла в замке.

Бернард слушал больше из уважения, нежели из сочувствия огорчениям старца; он дал ему высказаться, позволил выплакать горе. А когда Курт собрался уходить, потому что начал мерзнуть в комнате Бернарда, тот взял его под руку и по коридорам проводил в собственную его келейку.

В стенах монастыря все кругом притихло; наступил час успокоения; белые рыцари ложились спать, и только челядь еще продолжала хлопотать.

Бернард, проводив Курта, не вернулся в свою комнату, а после минутного раздумья вышел на

двор и направился в нижний замок, где находился госпиталь. Здесь жил великий госпиталит и его помощники. Бернард знал, что не только в такие поздние часы, но иногда и всю ночь напролет усердный и подвижный старичок Сильвестр не ложится отдохнуть.

Никто никогда не знал, в какое время он спит и когда просыпается. По старинным орденским правилам он ложился одетый, часто ухитрялся вздремнуть сидя, а когда прислуга думала, что он заснул, Сильвестр внезапно появлялся со светильником в руке у постелей больных или в таких местах, где должны были дежурить при них служители.

Избрание Сильвестра на единственную в ордене выборную должность, на которой удостоенные доверия избранники имели право никому не отдавать отчета ни в своих действиях, ни в своих расходах, было в высшей степени удачно. Выбор, павший на него, был так справедлив, так единогласен, что даже те из его собратий, которые завидовали свободе действий брата-госпиталита, не смели осуждать в чем-либо Сильвестра.

Он был воплощенным христианским милосердием. Вид людских страданий — смягчал его сердце и делал его безгранично чутким и податливым, а так как в болезнях люди бывают более сами собой, чем в иное время, то Сильвестр

лучше знал своих пациентов, нежели вся остальная братия. И, зная их, не негодовал, а глубоко сожалел о них.

Хотя Бернард во многом был не похож на брата-госпиталита, однако уважал его, как и все прочие.

Было истинным чудом, что он застал старичка в его келейке, пахнувшей какими-то восточными бальзамами и наполненной множеством различной утвари, одежд, полотен, склянок и горшочков.

Сильвестр отдыхал, но беззвучные шаги Бернарда все же разбудили его, и он вскочил. Привыкший спать урывками, он всегда сразу приходил в себя: проводил рукою по лицу, и признаки дремоты исчезали.

— Надоедаю вам? Не правда ли? — сказал Бернард, входя. — Простите! Меня гнетет тревога о том мальце.

Госпиталит развел руками, давая понять, что не может сообщить ничего утешительного.

— Но ему не хуже? — спросил Бернард.

— И не лучше, — шепнул старик.

Гость пытливо смотрел на озабоченное лицо хозяина.

— Нет, не лучше! — повторил Сильвестр. — Вчера я не был еще вполне уверен в происхождении болезни: от крови ли она, или от духа? Ибо источники болезней двоякие. Сегодня же



я, кажется, не ошибусь, если скажу, что причину болезни тоска по чем-то...

— Но по чем? — пытливо подхватил Бернард.

— Трудно разгадать, — ответил монах, — юность, как вы знаете, полна неразрешимых загадок. Во Франции говорят, что когда молодые вина бродят, старые им вторят в бочках, а когда лозы зацветают, сок, выжатый из ягод, бурлит с тоски в лоханях.

Он сразу замолчал.

— Да говорите же, говорите! — стал просить Бернард, живо заинтересованный неоконченной параллелью.

— Вы же знаете, кто он такой, — зашептал Сильвестр. — Кто знает, не закипает ли в нем кровь литвина, когда родному гнезду грозит беда?

— Но ведь он ничего о себе не знает! — воскликнул рыцарь.

— А если, ничего не зная, он все же чувствует в душе, кто он такой?

— Как же это может быть?

— А разве кто-либо из нас знает, что может и чего не может быть? — спокойно возразил Сильвестр. — *Sunt arcana ierum*<sup>1</sup>, — сказал он, как бы про себя.

---

<sup>1</sup> Многое для нас сокровенно.

Бернард задумался.

— Сегодня он был не так спокоен и молчалив, как вчера, когда мы были у него вечером, — продолжал госпиталит, — он метался в тесной камерке, как в клетке; на лице был румянец, в глазах лихорадочный блеск. Издали мне слышалось, будто он что-то напевал, а когда я спросил о песне, он зарекся.

Брови Бернарда насупились.

— Ксендза бы ему да молитву, — сказал он, — душа у него в смятении. Пошлем к нему отца Антония.

Госпиталит не возражал.

Разговор прекратился, потому что в мыслях они были не согласны друг с другом. Бернард вернулся к себе в келью, не выразив желаний повидать юного питомца.

### III

У подножия холма тихо струится старый Неман. Он веками промыл себе глубокое русло и спрятался в нем. Пусть весна несет с собою половодье, пусть дожди мечут сверху на откосы потоки воды, он, старик, никогда не оставит свое ложе, не распалится гневом на прибрежные луга, не совершит набег на соседние нивы. Только на поверхности его гуляют курчавые волны,

водовороты да белая пена, которая, как танцовщица, вертится на одном месте и разлетается в пыль о камни. Изредка вода подымается, будто чему-то грозит... но скоро, покорная року, возвращается вспять, спешно катя свои волны к морю по проторенному пути.

Молодые реки шалют, он — никогда: старый батюшка-Неман всегда добр, как родной отец.

Здесь он со всех сторон опоясал песчаную косу и пригорок, приник к ним, точно преисполнен любви и желания быть им защитой. Оно и понятно: на пригорке стоит старинное литовское городище, едва ли не такое же древнее, как сам батюшка-Неман, оберегающий его от напасти. Только теперь, когда немцы стали глубоко внедряться в чужие земли, малое городище обратилось в сильную крепость. Литвины видели, как строились немцы, и кое-чему от них научились. Прежде здесь не нуждались в таких окопах и стенах: достаточен был вал да частокол. Ныне от закованных в железо врагов не спасают и каменные кладки... Впрочем, кому придет на ум лепить и ставить мурованные стены, когда Господь Бог вырастил твердые и толстые, как скалы, деревья?

Страшно было даже издали взглянуть на Пиллены. Казалось, что только исполины могли нагромоздить тяжелые колоды, в обхват человека, связанные в лапу, точно сращенные одна с другой.

Никто раньше не покушался на Литве строить стены такой вышины. Если бы поставить друг на дружку десять человек, то и тогда они бы не дотянулись доверху. И сколько бы ни ходить, нигде бы не найти ни ворот, ни окон, ни малейшей щели. Все было точно вытесано из одного целого куска.

Только посреди огромного сруба высился громадный деревянный столб, с верхушки которого, взглядевшись, можно было видеть на многие мили вдаль луга, поля, леса и Неман; как он величаво изгибается, течет, дает излучины, чтобы везде, где нужно, защитить родную землю, напоить народ, принести на волнах челн, приволочь водою камень.

Замок стоял на горке, а горка образовала остров, соединенный с твердою землей только узенькою перемышкой. Да и самую косу Неман иной раз возьмет да и зальет водой, точно отовсюду опояшет свое детище руками.

Здесь же, под защитой замка, как грибы, толпятся на земле избышки, хаты, шалаши, землянки — целый мирный городок, пустеющий перед войной, так как жители его спасаются в Пиллены. То там, то здесь растет среди солнца старая ракета или уцелевшая от бора осиротевшая сосна. Над водой сплелись ветвями густые дебри лозняка, а среди них то здесь, то там виднеются ракиты, точно стерегущие расшалившуюся детвору.

Старая ракета стоит, как ветеран, помнящий страшные побоища, оставившие на ней свои следы. Ствол, нередко смолоду искривленный бурями, разбитый молнией, весь в трещинах от засухи, дуплистый, изъеденный червями, полугнилой, и ветер пронизывает его насквозь. А корни, как судорожно скрюченные пальцы, цепляются за землю, а на пальцах, точно раздувшиеся жилы, выросла узловатая кора...

Голова утрачена... ее давно сорвала буря; выросли только юные побеги, прикрывшие зарубцевавшиеся раны. С одной стороны торчит оголенная от листвы ветка, точно рука, протянутая за подаянием; с другой — сук, как обнаженная от мяса кость. Вокруг пня молодое поколение внуков. И ветви, и сухая поросль, и валежник, и дуплистые стволы — все сплелось в чудовищно-дикую картину. Не то умирает, не то возрождается к новой жизни; не то валится, не то стоит, не то сохнет, не то живет... а по ночам пугает и животных и людей. А здесь, в Пилленах, со стороны земли таких ракет не одна и не две, а целый ряд, как сторожевое войско! Издали кажется, будто великаны вышли на защиту городища... А те, которых ветер положил в лок, так что расселись желтоватые их внутренности, прильнули к самой земле и дают молодую поросль...

Было утро, не то осеннее, не то зимнее; серое

небо; резкий ветер; кругом все мертво; тишина, и ни живой души. Даже в хатах и клетях не было видно жизни.

Одна из верб, стоявшая совсем на отлете, прапрабабка остальных, со стволом, разодранном пополам в длину, вся раскоряченная, казалось, проявляла больше жизни, чем остальные. У ее торчавших поверх земли перепутанных корней как будто развевалось что-то, а за этим лоскутом или завесой не то примостился зверь, не то приютился человек.

В поселке из одной из землянок выглянула женщина, заметила существо, копошившееся у ствола, посмотрела, покачала головой и опять скрылась.

Тогда из той же двери вышел человек, одетый в вывороченный полушубок, и стал внимательно присматриваться к трепыхавшемуся на ветре лоскуту. Потом взял стоявшую у притолоки палку с кремневым наконечником и осторожно, тихим шагом, пошел к раките.

Чем ближе он подходил, тем яснее видел сидевшего в дупле маленького, толстого человечка, одетого в простую сермягу, в ушастой шапке, с торбой на спине и узелками у пояса. Из-под надвинутого на лоб козырька виднелось круглое, загорелое, старое, некрасивое лицо. Почти вровень с головой торчали сутуловатые плечи, а ниже

какая-то толстая, бесформенная колода с парой человеческих рук... и ноги, опутанные лохмотьями и кусками кожи.

На земле лежала толстая дубинка, а возле нее серый мешок.

Отдыхавший под вербой все время бросал вокруг пытливые взгляды. Он видел и женщину, которая первая его заметила, и подходившего теперь к нему мужчину. Но отнюдь не испугался. Он ютился и жался к вербе, точно к матери. Весь свернулся в клубок, засунул пальцы за пазуху, втянул голову между плеч и равнодушно глядел на подходившего.

Вслед за хозяином вылез из землянки и уселся на пороге рыжеватый пес с взерошенной шерстью. Собака постояла, потянула воздух, залаяла и заворчала. Потом, после минутного колебания, пошла вслед за хозяином, все ускоряя шаг, как будто торопясь ему на помощь.

Чем дальше, тем больше ерошилась и становилась дыбом ее шерсть; глаза выпятились, губы поднялись, обнажив оскал зубов.

Хозяин оглянулся на собаку и крепче стиснул палку, так как у псов хороший нюх: сразу чувствуют врага.

Только враг ли это? Видом он был литвин, и хотя приближавшийся хозяин хатки явно питал недружелюбные намерения, пришлец не принимал

мер к самозащите: не делал никаких попыток ни к нападению, ни к обороне.

В нескольких шагах от вербы и хозяин и пес остановились, хозяин оперся о палку, собака села, подняла морду и завыла.

— Дурной знак!

Сидевший на земле пришлец зашевелился, вытащил руки из-за пазухи, вытянул ноги и встал. Он оказался маленьким, толстым, неуклюжим, сильным, но совсем не страшным человеком.

— Ты кто такой? Что тебе здесь надо? — спросил пилленский житель.

Странник сначала добродушно рассмеялся.

— Не видишь что ли? Чего спрашивать? — отозвался он веселым голосом. — Я бедный свальгон; туго нам пришлось: даже таким, как я, приходится таскаться по миру, нищенствовать да побираться. Много забрали у нас немцы и народу, и земли... Вуршайтам и свальгонам <sup>2</sup> теперь смерть: хоть с голоду помирай, а делать нечего. Если где и уцелел священный дуб, так наших вокруг него, что муравьев; сколько ни нанесут жертвенных даяний, все съедим и того мало... Да разразит Перкун

---

<sup>2</sup> Свальгоны и вуршайты — непосвященные помощники жреческого класса вейдалотов; нищенствовавшие паразиты, занимавшиеся ворожбой, гаданьем и знахарством.



наших гонителей!

Собака, прислушиваясь к голосу свальгона, не переставала выть, так что поселянин, обернувшись к ней, должен был пригрозить ей и заставить замолчать. Сам же он не знал, что сказать свальгону.

Правда, и в прежние времена достаточно бродило по свету таких ворожеев, гусяров и наемных жрецов, перекочевывавших из усадьбы в усадьбу, из поселка в поселок. Их встречали гостеприимно, так как всегда находилось то то, то другое, что надо было либо освятить, либо очистить, либо разрешить, либо посоветовать. Теперь же такие побродяги очень уж размножились, так как много священных дубов и урочищ было уничтожено; служители их рассеялись по всей земле и так зачастили к поселянам, что посещениям их не так уж очень радовались.

— А ты откуда? — спросил хлоп, надумавшись.

— Лучше спроси, где я не бывал? — ответил свальгон. — Хожу я больше здесь, по Неману, так как тут родился; бывал и в Пилленах, но давно... Сколько свадеб вам сыграл, сколько песен на них понапевал!

— Хм! Свальгон! — проворчал поселянин. — Свальгон, говорите, значит свальгон вы и есть...

только почему ты не одет как свальгон, нет ни пояса, ни...

— Чему ж тут удивляться? — живо подхватил свальгон, осторожно подходя к хозяину. — Ограбили меня немцы на границе и повесили бы, кабы я не дал себя крестить. Бросили в воду, и я спасся.

— Вырвался из немецких рук! — изумился пилленец. — Это диво! Они никому не дают пощады, ни молодым, ни старым, и хотят всех нас перебить. А тут еще свальгон...

И туземец недоверчиво покачал головой.

— Я им не обязан жизнью, — объяснил пришлец, — не уцелеть бы мне, если бы не всемогущий Перкун. Когда они бросили меня в воду, раздался какой-то треск... немцы испугались, не засада ли... мигом разбежались, а я выплыл.

Собака уже не выла, а только ворчала.

Свальгон, подняв дубинку, мешок и узелки, лежавшие у ног, подошел к поселянину, вполне уверенный в гостеприимстве, о котором даже не просил.

Оба пошли к хате.

— Присяду обогреться, — сказал свальгон, — когда вы подошли, я стучал от холода зубами. Раненько собирается зима. Хотите, сумею спеть любую песню и погадать потрафлю: на пиве, на воде, на воске, как кто хочет. Болезни

заговариваю... скотинке помогаю...

Хлоп не отвечал, но и не гнал навязчивого гостя. Они потихоньку приближались к хатам и мазанкам, из которых выглядывали и выходили люди, выбегали собаки, а за ними босые и полуголые ребята.

Околица, до того безлюдная, вдруг оживилась. Всем было любопытно поглазеть на чужого человека, хотя бы даже на такого же литвина, как они сами.

Рядом была граница, за которой хозяйничали и грозили немцы; всякому хотелось знать, не принес ли бродяга известий о готовившемся нападении, захвате или хотя бы зарубежном настроении. Люди, шатающиеся век по свету, обыкновенно много знают.

Те, которые заметили, что странник направляется к мазанке Гайлиса, потянулись туда же всей громадой. Не такие теперь были на Литве счастливые времена, как в старину!

Правда, всегда бывали у Литвы враги; но они не забирались в глубь страны. Там, за пущами, за трясинами, были еще благословенные края, не выдавшие вражеской ноги. Здесь с незапамятных времен осели люди как в гнезде, почти не зная о зарубежном крае. Тут росли священные дубы и божьи рощи; текли живые и лечебные источники; царил мир, и раздавались над лугами и лесами

выкрики литовских женщин и бубенчики у подола литовских девушек, мешавшие им схорониться. Теперь же много изменилось, с тех пор как крестоносцы осели железным станом над границей и стали воевать, опустошать и всячески тревожить землю братьев пруссов, и горных, и низинных.

В самых непроходимых пущах нельзя было от них укрыться; священные урочища подверглись осквернению: выжгли Ромнове, вырубил Баублисы, избивали и изгоняли население. Всегда приходилось быть на страже, держать ухо востро, при малейшем подозрительном шуме уходить либо стекаться под защиту старых городищ.

Потому пограничные округа постепенно пустели; земледельческие общины переселялись за болота и леса, а кунигасы сидели только в городах, вооруженные с ног до головы, вечно начеку, готовые до последней капли крови оборонять могилы предков и наследственные земли.

Все понемногу изменилось под натиском врага; свобода, исстари царившая в лесах, пала жертвой первая, так как война властно ставила вождей и требовала беспрекословного повиновения от подвластных... Тоскливая завеса опустилась на страну...

Те, которые еще недавно ничего не знали и не хотели знать о соседях и о чужбине, настораживались при малейшем шорохе,

долетавшем с запада. Появление ободранного свальгона, которого никто не знал в поселке, возбудило любопытство: ведь и от него можно было узнать новинки.

Как только свальгон вошел с Гайлисом в его убогую лачугу, наполовину вросшую в землю, с очагом в середине, на котором пылал на камнях неугасимый огонь на домовом жертвеннике, а вокруг лежали, вместо лавок, принесенные с поля глыбы валунов, так вслед за хозяином и гостем стали ломиться в двери ближайшие соседи. Внутренность лачуги была такая же печальная, как ее внешность, видом напоминая большую кротовину.

Дым, с трудом выбивавшийся через небольшое отверстие над очагом, стлался сине-серым пологом между крышей и стенами.

То же помещение служило и людям и домашнему скоту, как бы составлявшему часть семьи. В глубине стояла корова с теленком, пара исхудалых волов и две маленькие, приземистые, толстенные лошадки, уже одетые зимней, лохматой шерстью. За ними, по соседству, лежали черные и коричневые овцы, а под ногами доверчиво прогуливались куры и гуси. Все население явно свыклось друг с другом: и люди, и животные. Они понимали друг друга, сторонились, а в суровые зимы грелись, сбившись в кучу. Босые и полуголые

дети сосали иной раз яркок наперебой с ягнятами. И волы и дети одинаково повиновались голосу хозяина и хозяйки. А собака одинаково сторожила всех, оберегая младенцев от зверей, а зверей от издевательства подростков.

По одну сторону избы, на стенах, тщательно проконопаченных мхом, висели всякие хозяйственные орудия и приборы; другие были расставлены на полках; а то, что подороже, было спрятано в углу, в осыпях зерна и кадах. Под крышей сохло всевозможное зелье: от болезней, худобы, чар и дурного глаза. Небольшой стол и скамьи, вместо которых, большей частью, употреблялись камни, были грубо вытесаны из бревен. За маленькой полуоткрытой дверцей виднелась низкая кладовка, а в ней орала, разобранные телеги и колеса.

Свальгон уселся поближе к огню на камне; отпустив наушники, завязанные узлом под подбородком, и расставив руки, грел их перед очагом, протягивая над слабо горевшим пламенем.

Заметив это, маленькая девочка, с любопытством глядевшая на странника, подбросила на очаг несколько сухих ветвей, чтобы согреть пришельца.

Гайлис пошел в далекий угол хижины зачерпнуть пива, которое велел дочурке подогреть. Все молчали, не решаясь заговорить с озябшим